



ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА (ШВАРЦ)

В. И. Иванов в откликах современников

Имя на днях скончавшегося в Риме Вячеслава Иванова, поэта и теоретика русского символизма, как-то срослось с представлением о таинственной Башне, в которой живет и творит подлинный поэт. Еще при жизни Вячеслава Иванова эта Башня стала легендой и перешла в историю современной поэзии начала нынешнего века. Никакой таинственности в самой Башне не было. Она была при квартире поэта и завсегда таи знаменитых Ивановских «сред» после ночи, проведенной в оживленной беседе и спорах об искусстве, поднимались туда поглазеть на панораму просыпающегося Петербурга.

И все-таки в самой легенде есть свой глубокий смысл. Трудно найти в истории поэзии более общительного, «соборного» и вместе с тем более замкнутого в себе поэта, чем был Вячеслав Иванов.

Начну с того, что этот «русейший» человек, сын землемера, родившийся и выросший в Москве, воспринимался современниками как некий таинственный иностранец. В основе этого впечатления лежат кое-какие факты из личной биографии Иванова. Пробыв два года в Московском университете на историко-философском факультете, Иванов уехал учиться в Берлин, где работал под руководством известнейшего немецкого историка Моммзена, затем много путешествовал по разным странам Европы, был в Палестине и долгие годы жил затем в Риме. К поэзии он пришел поздно и поэтому не мог не казаться литературной молодежи начала века «старшим».

Сложность и противоречивость впечатления, производимого Ивановым, пожалуй глубже всего отразил Блок в стихотворении, посвященном поэту:

<...>

В те дни — по слову Блока — «их души спели один и тот же стих». Позже, однако, воспоминания о годах юности легли на сердце «горькой складкой», Блок перестал ощущать в Вячеславе Иванове «друга» и только изредка, прислушиваясь к его стихам, по-прежнему узнавал «песнь соловья в твоей душе»¹.

«Странный лик» поэта, явившегося откуда-то из дальних стран, — это восприятие В. Иванова было характерно для большинства его молодых современников.

Отдавая должное изумительному мастерству ивановской прозы и лирики, Лев Шестов в очерке «Вячеслав Великолепный» («Русская мысль», 1916 г.), опередив на тридцать лет советских критиков, восставал против ивановского «преклонения перед Западом». Шестов как бы делал Иванова ответственным за все высказывания литературной молодежи тех лет и духовной зависимости России от Европы и доказывал, что эта зависимость характерна только для современной литературы, так как это «литература упадочничества». Шестову, как и его современным советским последователям, не приходило в голову, что не столько «духовная зависимость», сколько реакция на нее — в виде усиления националистического чувства — и была выражением «упадочничества». Анализируя литературный стиль Иванова, уснащенный не только иностранными, но и отяжеленный древнерусским словесным орнаментом, Шестов боролся с двумя противоположными чувствами: с одной стороны он любовался и наслаждался Ивановым, с другой — отталкивался от него, говоря: «если бы у нас, как в древних Афинах, существовало право остракизма, я подал бы свой голос за изгнание Иванова из пределов отечества». Причем, в качестве основания для такого изгнания, Шестов хотел повторить мотивировку, прославившую афинского нищего: «Мне надоело постоянно слышать, что Вячеслав Иванов умен, что он блестящ» и т. д.² И те же нотки какого-то до конца не осознанного неприятия звучат в воспоминаниях Андрея Белого: «Сирин ученого варварства» (в изд. Скифы, Берлин, 1922).

Более справедливы, хотя и тронуты уже историчностью в трактовке, воспоминания современников, появившиеся в тридцатых годах. Так, Ф. Степун в «Современных Записках» (Париж, 1936 г.) писал, что «уже в годы их частых встреч в Петербурге, в Иванове было нечто, старившее его, делавшее его в ощущении

молодых современников “маэстро”, а с другой стороны, было и нечто “изумительно-юношеское”³. <...>

<...>

Глубокой и нелюбимой оценке подверглась вся эта эпоха в Воспоминаниях другой посетительницы ивановских сред — монахини Марии, принявшей позже мученическую смерть от гитлеровских палачей. В миру она была известна до революции, как поэтесса Е. Кузьмина-Караваева. В статье «Встречи с Блоком» в «Современных Записках», монахиня Мария так передает «воздух» эпохи своей юности:

«Думаю, не ошибусь, если скажу, что культурная, литературная, мыслящая Россия было совершенно готова к войне и революции. В этот период смешалось все. Апатия, уныние, упадочничество, — и чаяние новых катастроф и сдвигов. Мы жили среди огромной страны словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура — цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своей, знали философию и богословие... В этом смысле мы были гражданами вселенной, хранителями великого культурного человечества. Это был Рим времен упадка. Мы не жили, мы созерцали все самое утонченное, что было в жизни, мы не боялись слов, мы были в области духа циничны и нецеломудренны, в жизни вялы и бездейственны. В известном смысле мы были, конечно, революция в революции, — так глубоко, беспощадно и гибельно перекапывалась почва старой традиции, такие смелые мосты бросались в будущее...»⁴.

Вячеслав Иванов был неповинен в этих крайностях, он был гораздо гармоничней и призывал к другому. В очерке «О любви дерзающей» (Факелы, 1908 г.)⁵ он напоминал об одной, почти забытой в христианском мире добродетели античного мира: добродетели внутреннего дерзания, которую древние называли «фюмос», понимая под этим «доблесть искателей и новых путников духа». Большинство младших современников В. Иванова, занявших после революции литературную авансцену, не очень вдумывалось в Иванова, превратило его Башню в символ целого поколения русского символизма, предав его анафеме. Исключения редки. Но об одном таком исключении хочется напомнить.

Ольга Форш, в юности своей увлекавшаяся символизмом, в 1933 году написала роман «Символисты»⁶. Это одно из самых

интересных и по замыслу и по выполнению произведений писательницы. В нем читатель найдет не только мастерский литературный портрет Вячеслава Иванова, но и подробное бытовое описание его знаменитых «сред». Описание одного такого собрания заканчивается полемическим возгласом кого-то из молодых гостей по адресу хозяина (т. е. Иванова): «Символистов уже больше не будет. Умер ваш символизм». На это Иванов ответил юноше: «Символизм» — не творческое действие только, но и творческое взаимодействие. Вам, молодым, лучше знать, умер ли для вас символизм. Мы, уже умершие, мы свидетельствуем, шепча на ухо пирующим на наших поминках, что смерти нет»⁷.

Эти страницы о юности века и юности русского символизма вставлены в роман Ольги Форш в виде «Записок из погребка», которые случайно попадают в руки комсомолке Нине Кадановой. Сперва она читает эти «Записки», как тетрадь, слетевшую с Марса, но, по мере чтения «Записки», начинают ее как-то волновать. Она узнает из них о прошлом своей матери и о своем настоящем отце. Товарищи Нины хотят тоже их прочитать, чтобы «проработать совместно», но Нина боится дать им свою находку. Она ловит себя на том, что язык и психология матери не были ей чужды, хотя многое с тех пор изменилось. Ее мать искала человека, на которого она могла опереться, чтобы собрать «свою силу и дать свой цвет». Нина чувствует, что не нуждается в такой помощи, она может стоять на собственных ногах, «но вот в самом тайном, для всего важнейшем, в интимно-сердечном наш женской вопрос так и стоит вопросом». Прочтя «Записки», Нина чувствует, что она стала богаче своих сверстников.

1949

